

ГЛАВА VII. Каковы политические последствия бредовой работы и можно ли как-то изменить ситуацию?

“ Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться.

Джордж Оруэлл. Фунты лиха в Париже и Лондоне

“ Если бы потребовалось разработать режим работы, идеально подходящий для поддержания власти финансового капитала, трудно представить себе, как можно было бы сделать это еще лучше. Настоящие производительные работники эксплуатируются и находятся под беспощадным давлением. Остальные делятся на запуганную страту безработных, над которыми все издеваются, и более крупную страту, которой, по сути, платят за то, что они ничего не делают. Последние занимают должности, которые устроены так, чтобы заставить их сопереживать ожиданиям и чувствам правящего класса (менеджеры, администраторы и так далее) – в особенности его представителям из финансового сектора – и в то же время пробуждать кипящее негодование в отношении всех, чья работа обладает ясной и несомненной общественной ценностью.

Из эссе «О феномене бредовой работы»

В завершение этой книги я хотел бы высказать несколько мыслей о том, к каким политическим последствиям привела текущая ситуация в области труда, а также предложить одно возможное решение. В двух предыдущих главах я описывал

экономические силы, ставшие причиной распространения бредовой работы (то, что я назвал менеджериальным феодализмом), и космологию, то есть те общие представления о месте человека во Вселенной, благодаря которым мы можем мириться с текущим положением вещей. Чем сильнее экономика сводится к простому распределению добычи, тем больше смысла в неэффективных и ненужных управленческих иерархиях, поскольку именно такие формы организации лучше всего подходят для того, чтобы выкачивать как можно больше ресурсов. Чем меньше ценность работы зависит от того, что она производит и какую пользу она приносит другим, тем больше работа начинает цениться в первую очередь как форма самопожертвования. Это означает, что всё, что делает работу менее обременительной или более приятной, даже если речь идет об удовлетворении от осознания того, что работа приносит пользу другим, воспринимается как то, что снижает ее ценность, – и в результате оправдывает более низкий уровень зарплаты.

Всё это в самом деле противоестественно.

В определенном смысле критики, которые утверждают, что мы не работаем пятнадцать часов в неделю из-за того, что предпочли досугу потребительство, не так уж далеки от истины. Они просто неправильно понимают механизмы, которые здесь действуют. Мы работаем больше не потому, что тратим всё время на производство приставок PlayStation и доставку суши друг другу. Промышленность всё сильнее роботизируется, а доля реального сектора услуг в общей структуре занятости остается практически неизменной и составляет около двадцати процентов. Напротив, это происходит из-за того, что мы изобрели какую-то странную садомазохистскую диалектику. С одной стороны, мы считаем, что страдание на рабочем месте – это единственное, что может оправдать наши тайные потребительские радости. И в то же время, поскольку работа съедает у нас всё больше времени бодрствования, мы не можем позволить себе роскошь «жить», как лаконично выразилась Кэти Викс. А это, в свою очередь, означает, что тайные потребительские радости – это единственное удовольствие, на которое у нас остается время. Чтобы сидеть целый день в кафе и спорить о политике или о сложных полиаморных любовных интригах друзей, нужно время (собственно, целый день и нужен). А вот чтобы потягать железо или позаниматься йогой в тренажерном зале, заказать еду на дом в Deliveroo, посмотреть серию «Игры престолов», выбрать в магазине крем для рук или бытовую электронику, достаточно ограниченных и предсказуемых временных интервалов, которые наверняка останутся между рабочими делами или во время отдыха от работы. Всё это примеры того, что я называю «компенсаторным потребительством». Это то, чем люди занимаются, чтобы компенсировать полное или частичное отсутствие жизни.

**О том, как в условиях
менеджериального феодализма
политическая культура стала
поддерживаться балансом разных**

форм злости

“ Рассказывают, что, когда надписывали черепки [чтобы определить, кого из политиков подвергнуть остракизму и изгнать из города], какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду – первому, кто попался ему навстречу, – черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. «Нет, – ответил крестьянин, – я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый“ да „Справедливый“!..» Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Аристид

Конечно, я немного преувеличиваю. Людям в обществе потребления, даже если они работают на бредовой работе, отчасти удается жить своей жизнью. Хотя стоит задаться вопросом о том, насколько долго можно вести такой образ жизни, если учесть, что чаще всего именно люди, застрявшие на бессмысленной работе, страдают от клинической депрессии и других психических заболеваний, не говоря уже о проблемах в репродуктивной сфере. Во всяком случае, я подозреваю, что дело обстоит именно так; подтвердить эти подозрения может только эмпирическое исследование.

Впрочем, даже если мои подозрения не подтвердятся, одно соображение неоспоримо: из-за подобных условий труда политическая жизнь наполнена ненавистью и злобой. Те, кто с трудом выживает и не может найти работу, злятся на трудоустроенных. Трудоустроенных убеждают ненавидеть бедняков и безработных, которых постоянно называют паразитами и нахлебниками. Те, кто застрял на бредовой работе, обижены на всех, кому повезло заниматься по-настоящему производительным или полезным трудом. А тем, кто занят по-настоящему производительным или полезным трудом, недоплачивают, их унижают и не ценят; и их, в свою очередь, всё сильнее бесят те, кто, по их мнению, занял немногочисленные рабочие места, где можно хорошо зарабатывать и при этом заниматься чем-то полезным, возвышенным или привлекательным, – те, кого они называют либеральной элитой. Наконец, всех их объединяет ненависть к политическому классу: они считают, что он коррумпирован (и совершенно правы). Однако политическому классу все предыдущие формы пустой ненависти весьма удобны, поскольку они отвлекают внимание от него самого.

Некоторые из этих форм злости нам достаточно хорошо знакомы, читатель сразу узнает их; другие реже становятся предметом обсуждения и поначалу могут показаться странными. Легко понять, почему работника французской чайной фабрики бесит стая новых бесполезных менеджеров среднего звена, которых прислали на его голову (они вызывают возмущение даже прежде, чем решат уволить всех рабочих). Но далеко не столь ясно, почему эти менеджеры среднего звена должны ненавидеть фабричных рабочих. И тем не менее зачастую менеджеры среднего звена и даже их административные помощники откровенно ненавидят рабочих просто потому, что у рабочих есть основания гордиться своей работой. Этим работникам недоплачивают во многом просто из-за зависти.

Нравственная зависть – явление, которое нуждается в теоретическом осмыслении. Не уверен, что кто-то писал об этом, и всё же очевидно, что это важный фактор в отношениях между людьми. Под «нравственной завистью» я понимаю здесь чувство зависти и обиды, направленное на другого человека не из-за его богатства, одаренности или удачливости, а из-за того, что его поведение соответствует более высоким нравственным стандартам, чем поведение завистника. Обычно это чувство выражается так: «Как этот человек смеет вести себя так, будто он лучше меня (при том, что я сам признаю, что это поведение делает его лучше меня)?» Я помню, как впервые столкнулся с таким отношением в колледже, когда мой друг-левак сказал, что он больше не уважает одного известного активиста, после того как узнал, что у того есть дорогая квартира в Нью-Йорке, в которой живут его бывшая жена и ребенок. «Что за лицемер! – восклицал мой друг. – Он мог бы отдать эти деньги бедным!» Я ответил, что этот активист отдал почти все свои деньги бедным, но мой друг был непоколебим. Когда же я указал, что сам критик, которого нельзя было назвать бедным, ничего не пожертвовал на благотворительность, он обиделся. По-моему, больше он со мной не разговаривал. С тех пор я неоднократно сталкивался с таким отношением. В сообществе людей, которые занимаются добрыми делами, любой, кто будет слишком уж сильно воплощать в себе разделяемые там ценности, будет восприниматься как угроза. Нарочито хорошее поведение (сейчас это называют «демонстративной добродетелью» (virtue signaling)) часто воспринимается как нравственный вызов. Даже если речь идет об исключительно смиренном и скромном человеке, это не имеет значения – на самом деле это может даже ухудшить дело, поскольку сама скромность может восприниматься как нравственный вызов теми, кто втайне считает себя недостаточно скромными.

Чувство нравственной зависти распространено в активистских и религиозных сообществах. Я же хочу обратить внимание, что в менее явном виде оно также проявляется в политических дискуссиях, связанных с работой. Так же, как гнев по отношению к иммигрантам часто выражается в обвинениях, что приезжие работают одновременно слишком много и слишком мало, возмущение бедными направлено одновременно и на тех, кто не работает (поскольку они якобы ленивы), и на тех, кто работает (поскольку у них, по крайней мере, не бредовая работа – если только их не удалось заставить взяться за такую работу ради пособия). Почему, например, американским консерваторам так успешно удается провоцировать массовое возмущение профсоюзами в больницах или на автозаводах? Когда в 2008 году финансовую индустрию выводили из кризиса, то общественность была возмущена миллионными бонусами банкиров, но никаких реальных санкций не последовало; однако последующие меры по спасению автомобильной индустрии предусматривали санкции – санкции в отношении работников на конвейере. Работников активно осуждали за то, что они избалованы профсоюзными контрактами, благодаря которым они получают щедрую медицинскую страховку, пенсию, отпуск и зарплату в размере двадцать восемь долларов в час. Многие их заставили вернуть. Настоящими виновниками ситуации были работники финансовых отделов тех же самых компаний (если только они не сидели просто так и не бездельничали), однако от них не требовали аналогичных жертв. Одна газета в Мичигане описывает это так:

За спасением банков в феврале последовали аналогичные меры в отношении автомобильных компаний. Здесь предполагалось, что для восстановления рентабельности производства придется сократить тысячи рабочих мест. Долгое время работникам

автомобильной промышленности завидовали из-за защищенности рабочих мест и медицинской страховки; теперь они стали козлами отпущения. Когда промышленные города, в прошлом гордость Мичигана, пришли в полный упадок, то правые обозреватели заявляли по радио, что рабочие, которые в свое время с помощью профсоюзной борьбы помогли добиться для всех сокращения рабочей недели до сорока часов в течение семи дней, теперь получили по заслугам[220].

Почему у рабочих на американских автомобильных заводах были достаточно щедрые страховки в сравнении с другими синими воротничками? В первую очередь благодаря их ключевой роли в создании того, в чем их сограждане действительно нуждались и что вдобавок считалось важным в культурном отношении (на самом деле именно это позволяло им чувствовать себя американцами)[221]. И трудно отделаться от подозрения, что именно это всех и возмущало. «Они могут делать машины! Разве им этого недостаточно? Я должен весь день сидеть и заполнять тупые формы, а эти сволочи еще и тычут меня в это носом, угрожая забастовкой и требуя стоматологическую страховку или двухнедельный отпуск, чтобы свозить детей в Большой каньон или показать им Колизей!»

Точно так же обстоит дело и с яростной враждебностью по отношению к учителям начальной и средней школы, которая наблюдается в США. Иначе объяснить ее невозможно. Разумеется, школьный учитель – это просто идеальный пример человека, который выбрал социально значимую и благородную профессию, полностью осознавая, что будет получать низкую зарплату и работать в напряженных условиях. Учителями становятся те, кто хочет позитивно влиять на жизни других людей. (Как гласило объявление о приеме на работу, размещенное в нью-йоркском метро, «никто двадцать лет спустя не звонит оценщику страховых исков, чтобы поблагодарить его за работу».) И опять же, судя по всему, именно это и делает учителей легкой добычей в глазах тех, кто называет их избалованными, капризными и зажавшимися разносчиками антицерковных, гуманистических и антиамериканских идей. Еще можно понять, почему республиканские активисты нападают на профсоюзы учителей: ведь это основная опора Демократической партии. Но в профсоюзы учителей входят как учителя, так и администраторы школ, и именно последние на самом деле ответственны за большую часть тех решений, против которых выступают республиканцы. Так почему бы не обратить внимание на них? Было бы гораздо проще доказывать, что администраторы школ – паразиты со слишком высокой зарплатой, чем то, что школьные учителя чересчур изнежены и избалованы. Как отметил Эли Горовиц,

Примечательно, что на самом деле республиканцы и другие консерваторы сначала жаловались на администраторов школ, однако вскоре перестали. По какой-то причине эти голоса (которые с самого начала были тихими и немногочисленными) пропали почти сразу после начала дискуссии. В конечном счете оказалось, что сами учителя – более удобная политическая мишень, несмотря на то что они выполняют более ценную работу[222].

Опять же, я считаю, что это можно объяснить только нравственной завистью. Считается, что учителя демонстративно выпячивают свою самоотверженность и общественную полезность, напрашиваясь на то, чтобы спустя двадцать лет им звонили и говорили: «Спасибо, спасибо вам за всё, что вы сделали для меня». Когда такие люди создают профсоюзы, угрожают забастовками и требуют улучшения условий труда, то это выглядит почти как лицемерие.



Есть важное исключение из правила, согласно которому любой, кто занимается полезной или благородной работой, но также ожидает высокой зарплаты и социального пакета, вызывает законную злость. Это правило не действует в отношении солдат и вообще всех, кто напрямую работает на армию. Наоборот, солдат ни за что нельзя ненавидеть, они выше любой критики.

Я уже упоминал об этом любопытном исключении, но было бы полезно кратко напомнить данный аргумент. На мой взгляд, без него невозможно в полной мере понять правый популизм[223]. Позвольте мне снова обратиться к примеру Америки, поскольку с ним я знаком лучше всего (хотя я уверен, что примерно то же самое можно наблюдать в любой стране мира, от Бразилии до Японии). В частности, с точки зрения правых популистов, военнослужащие – это всегда хорошие парни. Мы должны «поддерживать войска»; это абсолютный императив, и любой, кто его хоть как-то нарушит, – просто-напросто предатель. Интеллигенты, напротив, всегда плохие парни. Например, большинство консерваторов из рабочего класса не особенно нуждаются в руководителях корпораций, но особой неприязни к ним обычно не испытывают. По-настоящему они ненавидят «либеральную элиту» (она делится на несколько частей: «голливудская элита», «журналистская элита», «университетская элита», «самовлюбленные адвокаты» и «медицинский истеблишмент») – то есть людей, которые живут в крупных городах на побережье, смотрят общественное телевидение или слушают общественное радио, а может быть, даже работают на нем или выступают по нему. Мне представляется, что эта неприязнь основана на двух представлениях: во-первых, на представлении о том, что элита считает простых рабочих людей толпой узколобых неандертальцев, и, во-вторых, представлении о том, что элиты представляют собой всё более закрытую касту, куда ребенку из рабочей семьи гораздо труднее войти, чем собственно в класс капиталистов.

Я также полагаю, что оба этих представления в целом соответствуют действительности. Довольно очевидно, что первое из них верно, – достаточно взглянуть на реакцию на избрание Дональда Трампа в 2016 году. Белый рабочий класс – единственная группа населения в Америке, в отношении которой в приличном обществе спокойно можно делать заявления, которые в любом другом случае были бы названы шовинистическими предубеждениями (например, что представители определенной группы уродливы, жестоки или глупы). Если как следует задуматься, то и второе представление тоже верно. За примером можем снова обратиться к Голливуду: в тридцатые и сороковые годы само слово «Голливуд», как правило, ассоциировалось с волшебным продвижением по социальной лестнице, ведь Голливуд был местом, где простая деревенская девушка могла, отправившись в большой город, привлечь к себе внимание и стать звездой. Здесь нам не так важно, насколько часто такое происходило на самом деле (очевидно, время от времени это случалось); важнее, что в ту эпоху американцы не считали эту байку неправдоподобной. Взгляните сегодня на исполнителей главных ролей в любом известном фильме, и вы едва ли найдете хотя бы одного актера, который не может похвастаться по меньшей мере двумя поколениями голливудских актеров, сценаристов, продюсеров и режиссеров в своей родословной. В киноиндустрии теперь господствует эндогамная каста. Стоит ли в таком

случае удивляться, что когда голливудские знаменитости защищают политику равенства, то для американцев из рабочего класса это звучит несколько неубедительно? Причем Голливуд в этом отношении вовсе не является исключением. Наоборот, это характерный пример того, что произошло со всеми свободными профессиями, – может, в данном случае тенденция просто выражена чуть сильнее.

Я бы предположил, что консервативные избиратели склонны относиться к интеллектуалам с большей неприязнью, чем к богачам, потому что они могут представить себе расклад, при котором они или их дети разбогатеют, но не могут представить, что они когда-либо станут частью культурной элиты. Если задуматься, то такая оценка не покажется необоснованной. У дочери водителя грузовика из Небраски не очень высокие шансы стать миллионером, ведь в Америке показатель социальной мобильности сейчас самый низкий среди всех развитых стран, – но это может произойти. Но нет практически никаких шансов, что она станет юристом-правозащитником в международной организации или театральным критиком в *New York Times*. Даже если ей удастся попасть в хороший университет, то у нее точно не будет возможности поехать в Нью-Йорк или Сан-Франциско и жить там всё время неоплачиваемой стражировки, которая должна длиться не меньше нескольких лет[224]. Даже если у сына стекольщика получится зацепиться за какую-нибудь бредовую работу, открывающую неплохие возможности, ему, скорее всего, не удастся (или он не захочет) сделать из нее площадку для налаживания необходимых связей (мы это видели на примере Эрика). Этому мешает тысяча невидимых барьеров.

Если вернуться к оппозиции ценности и ценностей, о которой шла речь в предыдущей главе, то можно сказать так: если вы просто хотите заработать много денег, то есть шанс, что вы найдете способ это сделать. В то же время если вы стремитесь к какой-либо другой ценности – будь то ценность истины (журналистика, наука), красоты (мир искусства, издательское дело), справедливости (активизм, правозащитная деятельность), благотворительности и так далее – и хотите при этом получать зарплату, на которую можно жить, то у вас попросту ничего не выйдет, если ваша семья не обладает определенным состоянием, а у вас нет необходимых социальных связей и культурного капитала. Таким образом, «либеральная элита» – это люди, которые фактически закрыли доступ к любым позициям, на которых можно получать деньги за то, что делают не ради денег. Представителей этой элиты воспринимают как тех, кто пытается (и зачастую успешно) представить себя в качестве новой американской аристократии. Схожим образом голливудская аристократия монополизировала наследственное право на все рабочие места, которые позволяют хорошо жить и при этом чувствовать, что служишь какой-то большой цели, – иными словами, чувствовать себя благородным человеком.

Конечно, в США это во многом усложняется наследием рабства и закоренелым расизмом. В основном именно белый рабочий класс обращает классовую неприязнь на интеллектуалов; афроамериканцы, мигранты и дети мигрантов, как правило, отвергают антиинтеллектуализм и по-прежнему считают образование самым надежным способом улучшить социальное положение своих детей. Поэтому их обвиняют в том, что они заключили нечестивый союз с богатыми белыми либералами, – так считают бедные белые.

Но как всё это связано с поддержкой вооруженных сил? Если наша дочь водителя грузовика полна решимости найти работу, которая даст ей возможность заниматься чем-то бескорыстным и возвышенным, но при этом позволит платить за квартиру и иметь доступ к качественной стоматологической помощи, то какие у нее есть варианты? Если она религиозна, то может пойти в местную церковь, однако такую работу сложно найти. Основной вариант – пойти служить в армию.

Около десяти лет назад я оказался на лекции Кэтрин Латц, антрополога, которая вела проект по исследованию американских военных баз, расположенных за рубежом. Тогда до меня впервые дошло реальное положение дел. Латц сделала интересное наблюдение: почти все эти базы организуют социально ориентированные программы, в ходе которых солдаты ремонтируют школы или проводят бесплатные стоматологические осмотры в ближайших городах и деревнях. Официально эти программы проводятся для улучшения взаимоотношений с местным населением, но они редко оказывают значительное воздействие в этом отношении. Однако их не закрыли даже после того, как военные обнаружили их неэффективность; дело в том, что эти программы оказывают огромное психологическое воздействие на солдат. Многие солдаты приходили в восторг, когда описывали свой опыт, например: «Именно для этого я пошел служить в армию», «Вот что на самом деле значит служить в армии – не просто защищать свою страну, но и помогать людям!» Выяснилось, что солдаты, которым было разрешено заниматься общественными работами, в два-три раза чаще решали продолжить службу в армии. Я помню, как подумал: «Подождите, выходит, что большинство этих людей хотят служить в Корпусе мира?» Я проверил и выяснил: разумеется, оказалось, что для того, чтобы тебя приняли в Корпус мира, нужно закончить колледж. Армия США – прибежище для загрузивших альтруистов.

* * *

Можно показать, что исторически все различия между «левым» и «правым» сводятся главным образом к соотношению между ценностью и ценностями. Левые всегда пытаются уничтожить разрыв между двумя сферами, где преобладают исключительно корыстные интересы и благородные принципы; правые же всегда пытаются развести их еще дальше, а потом заявить о своих правах на обе сферы. Правые одновременно выступают за жадность и за благотворительность. Вот откуда в Республиканской партии возникает удивительный альянс между либертарианцами, выступающими за свободный рынок, и правыми христианами, которые «голосуют за ценности». На практике это обычно оказывается политической разновидностью стратегии «хорошего и плохого полицейского»: сначала они дают дорогу хаосу рынка, чтобы лишить жизнь стабильности и расшатать все догмы, а затем выставляют себя последним оплотом авторитета церкви и отцовской власти в борьбе с варварами, которым сами же и развязали руки.

Сочетая призыв «поддержать войска» с обличением «либеральной элиты», правые фактически упрекают левых в лицемерии. Они говорят: «В шестидесятые годы университетские радикалы утверждали, что пытаются создать новое общество, где все будут счастливыми идеалистами и станут жить в материальном благополучии, и обещали, что при коммунизме разделение между ценностью и ценностями будет уничтожено, а весь

труд будет служить общему благу; но в итоге они просто пытаются зарезервировать для своих избалованных детей все рабочие места, на которых человек чувствует, что работает на общее благо».

Отсюда можно сделать важные выводы об особенностях общества, в котором мы живем. Что это сообщает нам о капитализме вообще? Что общества, основанные на жадности, – даже если они утверждают, что люди по своей сути эгоистичны и алчны, даже если они выводят такое поведение в разряд достоинств – на самом деле в это не верят и втайне сохраняют право на альтруистичные поступки в качестве награды за участие в этой игре. Только те, кто способен рьяно доказывать свой эгоизм, получают право быть бескорыстными. Во всяком случае, таковы правила этой игры. Если ты всё время страдаешь и при помощи разных ухищрений тебе удается накопить достаточно экономической ценности, то тебе разрешается обналечить средства и превратить свои миллионы во что-то уникальное, возвышенное, неосязаемое, прекрасное – то есть превратить ценность в ценности. Ты коллекционируешь полотна Рембрандта или классические гоночные автомобили. Или создаешь фонд и посвящаешь всю оставшуюся жизнь благотворительности. Но если сразу перейти к последнему пункту, то это тут же назовут очевидным читерством.

Мы возвращаемся к той разновидности возрастного услужения, о котором говорил Авраам Линкольн, с той оговоркой, что теперь подавляющее большинство людей если и могут рассчитывать на то, чтобы стать по-настоящему взрослыми, то только после выхода на пенсию.

Солдаты – единственное общепринятое исключение, потому что они «служат» своей стране; и я подозреваю, всё дело в том, что обычно они не получают от этого особой выгоды в долгосрочной перспективе. Это объясняет, почему правые популисты, которые безоговорочно поддерживают солдат во время военной службы, удивительно равнодушны к тому, что в итоге значительная их часть проводит остаток жизни без дома, без работы, в нищете, наркозависимости или сидя на улице без ног и попрошайничая. Ребенок из бедной семьи может сказать себе, что идет служить во флот ради образования и возможностей карьерного роста; но все знают, что в лучшем случае это лотерея. В этом и заключается его жертва, а значит, в этом и источник истинного благородства.

Все упомянутые мной жертвы ненависти воспринимаются так, будто они демонстративно нарушают принцип обратной зависимости между оплатой труда и пользой для общества. Состоящие в профсоюзах рабочие автомобильных заводов и учителя выполняют крайне необходимые функции, и при этом им хватает наглости требовать такого же образа жизни, как и у представителей среднего класса. Я подозреваю, что они вызывают особый гнев у тех, кто застрял на саморазрушительной бредовой работе низшего или среднего уровня. Представители «либеральной элиты» вроде Билла Мара или Анджелины Джоли выглядят как люди, которые везде пролезли без очереди и завладели теми немногочисленными рабочими местами, на которых человек одновременно получает удовольствие, хорошую зарплату и возможность изменить мир, да еще и строят из себя поборников социальной справедливости. Они вызывают у рабочего класса особую ненависть, ведь мучительный, тяжелый, вредный для здоровья, но в то же время полезный для общества труд, кажется, никогда не привлечет внимания и интереса этих эталонных либералов. Однако это

безразличие сочетается с откровенной враждебностью, которую представители «либерального класса», застрявшие на высокопоставленной бредовой работе, испытывают к самим представителям рабочего класса из-за того, что те могут жить честным трудом.

Как нынешний кризис, связанный с роботизацией, соотносится с более масштабной проблемой бредовой работы

“ Пуританство: маниакальный страх, что кто-нибудь где-нибудь может быть счастливым.

Генри Луис Менкен

В политической жизни богатых стран постепенно начинает преобладать взаимная ненависть между разными группами людей. Положение дел катастрофическое.

Мне кажется, что всё это делает как никогда актуальным старый левацкий вопрос: «Каждый день мы просыпаемся и коллективно создаем этот мир; но кто из нас, окажись он предоставлен самому себе, решил бы, что хочет создать именно такой мир?» Во многих отношениях то, о чем мечтала научная фантастика начала XX века, стало возможным. Мы, конечно, не можем телепортироваться или создавать колонии на Марсе, зато мы с легкостью могли бы изменить положение дел и сделать так, чтобы почти всё население Земли жило относительно легко и комфортно. С материальной точки зрения это не очень сложно. Хотя темп научной революции и технологических прорывов уже далеко не так высок, каким был в период приблизительно с 1750-х по 1950-е годы, развитие робототехники продолжается – главным образом за счет более эффективного применения существующих научно-технических знаний. Наряду с достижениями материаловедения эти открытия предвещают эпоху, когда мы действительно сможем избавиться от значительной части наиболее скучного и утомительного механического труда. Это означает, что работа изменится: она всё меньше будет напоминать то, что мы называем «производительным» трудом, и всё больше походит на работу заботы. Ведь забота – это как раз то, что мало кто хотел бы передоверить машинам[225].

В последнее время вышло множество пугающих книг, посвященных опасностям механизации. Большинство из них придерживается линии, намеченной Куртом Воннегутом в его первом романе 1952 года «Механическое пианино». С исчезновением большинства форм ручного труда, предупреждают эти критики, общество неизбежно окажется разделено на два класса: обеспеченную элиту, которая разрабатывает роботов и владеет ими, и бывший рабочий класс, измученный и несчастный, который будет проводить время за игрой в

бильярд и выпивкой, потому что больше заняться ему будет нечем. (Средний класс распределится между ними.) Очевидно, что такая схема не только полностью игнорировала те стороны труда, которые связаны с заботой, но и предполагала, что отношения собственности невозможно изменить, а люди (по крайней мере, все, кто не пишет научную фантастику) окажутся совершенно лишены воображения и, даже имея неограниченное количество свободного времени, не придумают себе никакого интересного занятия[226]. Контркультура шестидесятых поставила под сомнение вторую и третью предпосылки (а вот первую – не особенно). Многие революционеры шестидесятых использовали лозунг «Пусть машины выполняют всю работу!». Ответом на это стала новая волна морализаторства по поводу самооценности работы, с которой мы уже сталкивались в главе 6, – в то же самое время, когда многие производства стали выводиться в бедные страны, где рабочая сила была достаточно дешевой и машины не требовались. Именно в рамках этой реакции на контркультуру шестидесятых возникла первая волна менеджериального феодализма и чрезвычайной бредовизации работы, которая дала о себе знать в семидесятые и восьмидесятые.

Последняя волна роботизации вызвала такую же моральную панику и кризис, как и в шестидесятые. Единственное реальное отличие заключается в том, что поскольку никто больше не обсуждает возможность какого-либо существенного изменения экономических моделей, не говоря уже о режимах собственности, то просто предполагается, что одному проценту населения достанется еще больше богатства и власти; другой исход невозможен. В недавней книге Мартина Форда «Восстание роботов», например, рассказывается о том, как Кремниевая долина сначала делает ненужной работу большинства синих воротничков, а затем берется за медиков, преподавателей и представителей свободных профессий. Автор предсказывает, что это может привести к «технофеодализму». Он заявляет, что если рабочие окажутся без работы или обеднеют из-за вынужденного соревнования с машинами, то это вызовет серьезные проблемы – прежде всего потому, что если люди не будут получать зарплату, то чем они будут платить за блестящие игрушки и за услуги эффективных роботов? Возможно, я чересчур упрощаю содержание книги, но это позволяет подчеркнуть, что в подобных сценариях всегда кое-что отсутствует: они каждый раз предсказывают, что роботы заменят людей, и на этом останавливаются. Футурологи могут представить, что роботы заменят, например, редакторов спортивных изданий, социологов или агентов по недвижимости. При этом я еще не слышал, чтобы кто-нибудь из них заявил, что машина может выполнять основные функции капиталистов, которые состоят главным образом в поиске оптимальных способов вложения средств для удовлетворения существующего или потенциального потребительского спроса. Почему бы и нет? Можно без проблем попытаться показать, что советская экономика функционировала так плохо главным образом из-за того, что СССР не удалось разработать достаточно эффективные компьютерные технологии, чтобы автоматически координировать столь большие объемы данных. Но Советский Союз дотянул только до восьмидесятых; сейчас это было бы намного проще. И всё же никто не осмеливается сделать такое предположение. Так, в знаменитом оксфордском исследовании инженера Майкла Осборна и экономиста Карла Фрея семьсот две профессии были проанализированы с точки зрения того, насколько они подлежат роботизации: среди них были, например, гидрологи, визажисты и экскурсоводы, но вообще не обсуждалась возможность автоматизировать работу предпринимателей, инвесторов или финансистов[227].

Интуиция подсказывает, что от Воннегута нам стоит перейти к другому писателю-фантасту, Станиславу Лему. Его герой, космический путешественник Ийон Тихий, описывает посещение планеты, населенной расой, которой автор не слишком тактично дает название индиотов. В то время, когда Ийон прибыл на их планету, они переживали классический кризис перепроизводства, описанный Марксом. Традиционно раса была разделена на спиритов (жрецов), достойных (аристократию) и лямкарей (рабочих). Как любезно объяснил один местный житель,

“ на протяжении веков изобретатели создавали машины, облегчавшие труд; и там, где в древности сотни лямкарей гнули облитые потом спины, через несколько веков стояло их у машин лишь двое-трое. Наши ученые всё больше совершенствовали машины, и народ этому радовался, но последующие события показали, насколько эта радость была, увы, преждевременной.

В конце концов заводы стали чересчур эффективными, и как-то раз один инженер создал машины, которые могли функционировать вообще без какого-либо надзора:

“ По мере того как на заводах появлялись Новые Машины, толпы лямкарей лишались работы и, не получая вознаграждения, оказывались лицом к лицу с голодной смертью...

– погоди, индиот, – прервал я его. – А что случилось с доходом, который приносили заводы?

– Как что? – возразил мой собеседник. – Доход поступал достойным, их законным владельцам. Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти...

– Что ты говоришь, почтенный индиот! – воскликнул я. – Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью, чтобы Новые Машины превратились в благодеяние для вас!

Едва я произнес это, как индиот задрожал, замигал тревожно десятком глаз и запрядал ушами, чтобы узнать, не слышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы.

– Во имя десяти носов Инды умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси – это гнусное покушение на самую основу наших свобод! Знай, что высший наш закон, называемый принципом свободной частной инициативы граждан, гласит: никого нельзя ни к чему приневоливать, принуждать или даже склонять, если он того не хочет. А раз так, кто бы осмелился отобрать у достойных фабрики, если достойным было угодно радоваться им?! Это было бы самым вопиющим попранием свободы, какое только можно себе представить. Итак, я уже говорил, что Новые Машины

создали огромное множество неслыханно дешевых товаров и лучших припасов, но лямкари ничего не покупали, ибо им было не на что...[228]

Вскоре, однако, лямкари – которые, как настаивал собеседник Тихого, обладали полной свободой делать всё, что они хотят, если только они не посягают на право собственности других людей, – началидохнуть как мухи. За этим последовали жаркие споры и серия полумер, завершившихся неудачей. Высший совет индиотов, Высокий Индинал, попытался заменить лямкарей и в качестве потребителей: он создал роботов, которые должны были есть, пользоваться и наслаждаться продукцией, производимой Новыми Машинами, гораздо активнее любого живого человека, и вместе с этим были наделены способностью к материализации денег, чтобы платить за товары. Но результат оказался неудовлетворительным. Наконец они поняли, что система, в которой производством и потреблением занимаются машины, не имеет особого смысла, и пришли к выводу, что наилучшим решением будет, если всё население добровольно отправится на предприятия, где превратится в красивые сияющие диски, а из них на земле будут выложены милые узоры.

Это может выглядеть прямолинейно[229], но мне кажется, что иногда доза прямолинейного марксизма – это именно то, что нам нужно. Лем прав: трудно представить себе более явный признак того, что перед тобой иррациональная экономическая система, чем тот факт, что перспектива ликвидации тяжелого труда считается проблемой.

В «Звездном пути» эту проблему решили при помощи репликаторов[230], а молодые британские радикалы иногда говорят о будущем «полностью автоматизированном коммунизме роскоши», что, по сути, то же самое. Несложно доказать, что любые роботы и репликаторы будущего должны будут стать общей собственностью всего человечества, потому что они будут продуктом коллективного технического интеллекта, история которого насчитывает много веков, – точно так же, как национальная культура создается каждым и, следовательно, принадлежит всем. Автоматизированные общественные предприятия должны сделать жизнь проще, и всё же лямкари не перестанут быть нужными. Рассказ Лема и подобные ему по-прежнему исходят из того, что «работа» означает работу на предприятии или, во всяком случае, «производительный» труд. Они не замечают, в чем на самом деле состоит труд представителей рабочего класса: например, как было отмечено в предыдущей главе, работники билетных касс лондонского метро нужны не для того, чтобы продавать билеты, а чтобы успокаивать пьяных и искать пропавших детей. Дело не только в том, что нам еще очень далеко до создания роботов, которые смогли бы выполнять такие функции: даже если бы они существовали, большинство из нас не захотело бы, чтобы эти функции выполнялись так, как это могли бы делать роботы.

Таким образом, чем дальше заходит автоматизация, тем более очевидным должно быть, что настоящую ценность работе приносит элемент заботы. Однако здесь мы сталкиваемся с другой проблемой: по всей видимости, это именно та составляющая труда, которую невозможно измерить.

На мой взгляд, бредовизация настоящей работы и расширение бредового сектора в целом – это в значительной степени непосредственный результат желания измерить неизмеримое.

Грубо говоря, автоматизация позволяет более эффективно выполнять некоторые функции, но в то же время выполнение других функций становится менее эффективным. Это происходит потому, что требуется огромный человеческий труд, чтобы перевести процессы, задачи и результаты, связанные с заботой, в форму, которую может распознать компьютер. Сейчас возможно создать робота, который будет самостоятельно сортировать овощи, разделяя их на спелые, незрелые и гнилые. Это хорошо, потому что сортировать фрукты, особенно если это занимает больше одного-двух часов, довольно скучно. Но невозможно создать робота, который будет самостоятельно сканировать десятки списков литературы для курсов по истории и выбирать лучший из них. И это не так плохо, потому что такая работа интересна (во всяком случае, несложно найти людей, которым она будет интересна). Смысл создавать роботов – сортировщиков фруктов отчасти состоит как раз в том, что они дают живым людям больше времени на размышления о том, какой курс по истории выбрать, или о чем-то другом, что также не поддается количественному измерению, – например, о том, кто их любимый фанк-гитарист или в какой цвет они хотели бы покрасить свои волосы. Подвох, однако, в том, что, даже если мы по какой-то причине пожелаем сделать вид, что компьютер может выбрать лучший курс по истории (например, потому что мы по финансовым соображениям решили, что необходимы единообразные, измеримые стандарты «качества», которые будут действовать во всем университете), он не справится с этой задачей сам. Фрукты можно просто закинуть в контейнер для сортировки, а в случае с курсом по истории потребуются огромные человеческие усилия, чтобы перевести материал в единицы, с которыми компьютер будет хотя бы знать, что делать.

Для того чтобы получить минимальное представление о том, что происходит, когда вы пытаетесь это реализовать, обратимся к диаграммам, которые демонстрируют разницу между тем, что требуется сделать, чтобы распечатать бланки экзамена или загрузить на сайт программу курса в Квинсленде, современном австралийском менеджериальном университете (где все материалы по курсам должны быть в едином формате), и на обычной кафедре в университете (см. рисунки 8.1–8.4).

Рисунок 8.1. Разработка профиля/программы курса (менеджериальный университет)

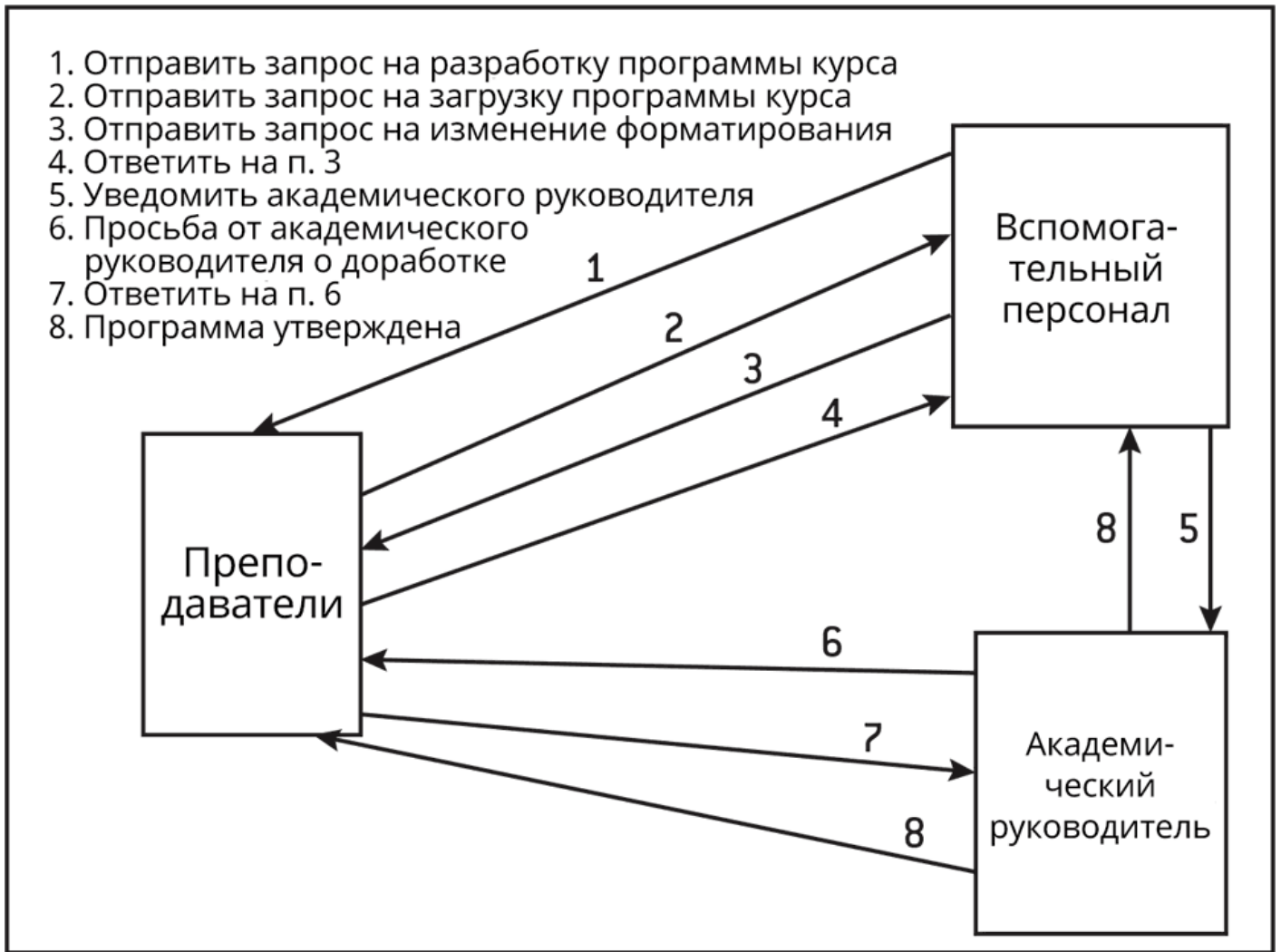


Рисунок 8.2. Разработка профиля/программы курса (неменеджеральный университет)

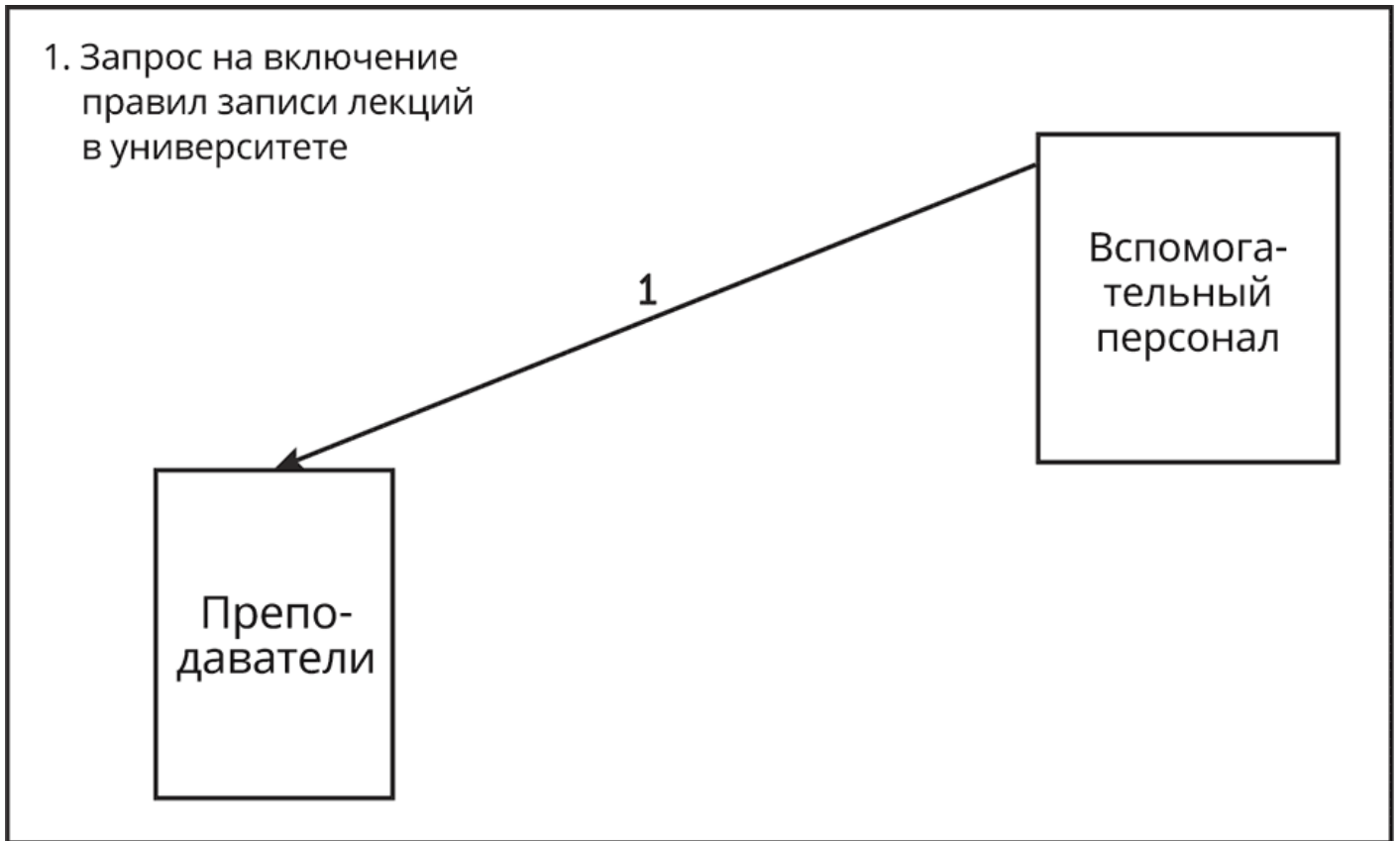


Рисунок 8.3. Разработка экзамена (менеджеральный университет)

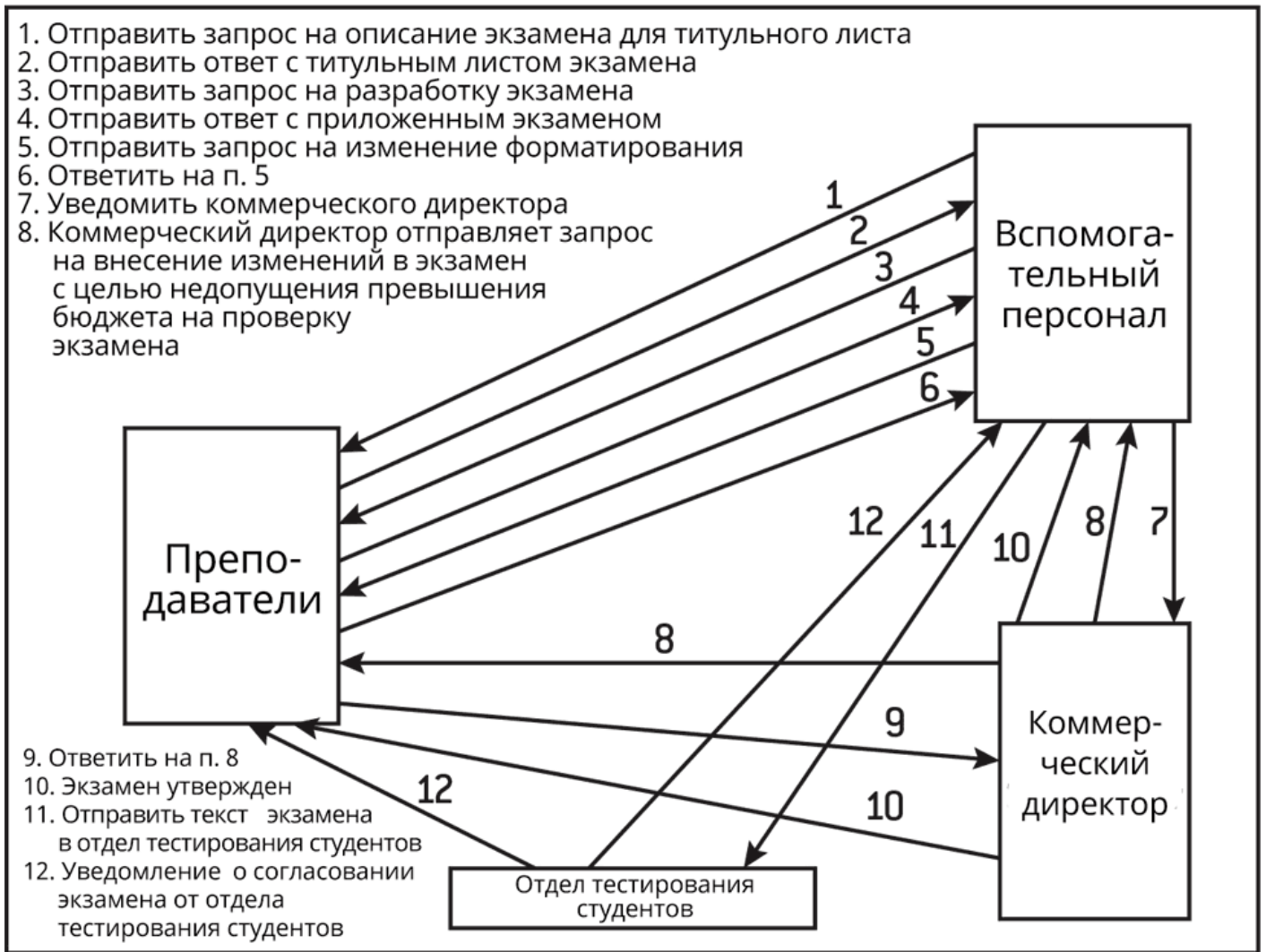
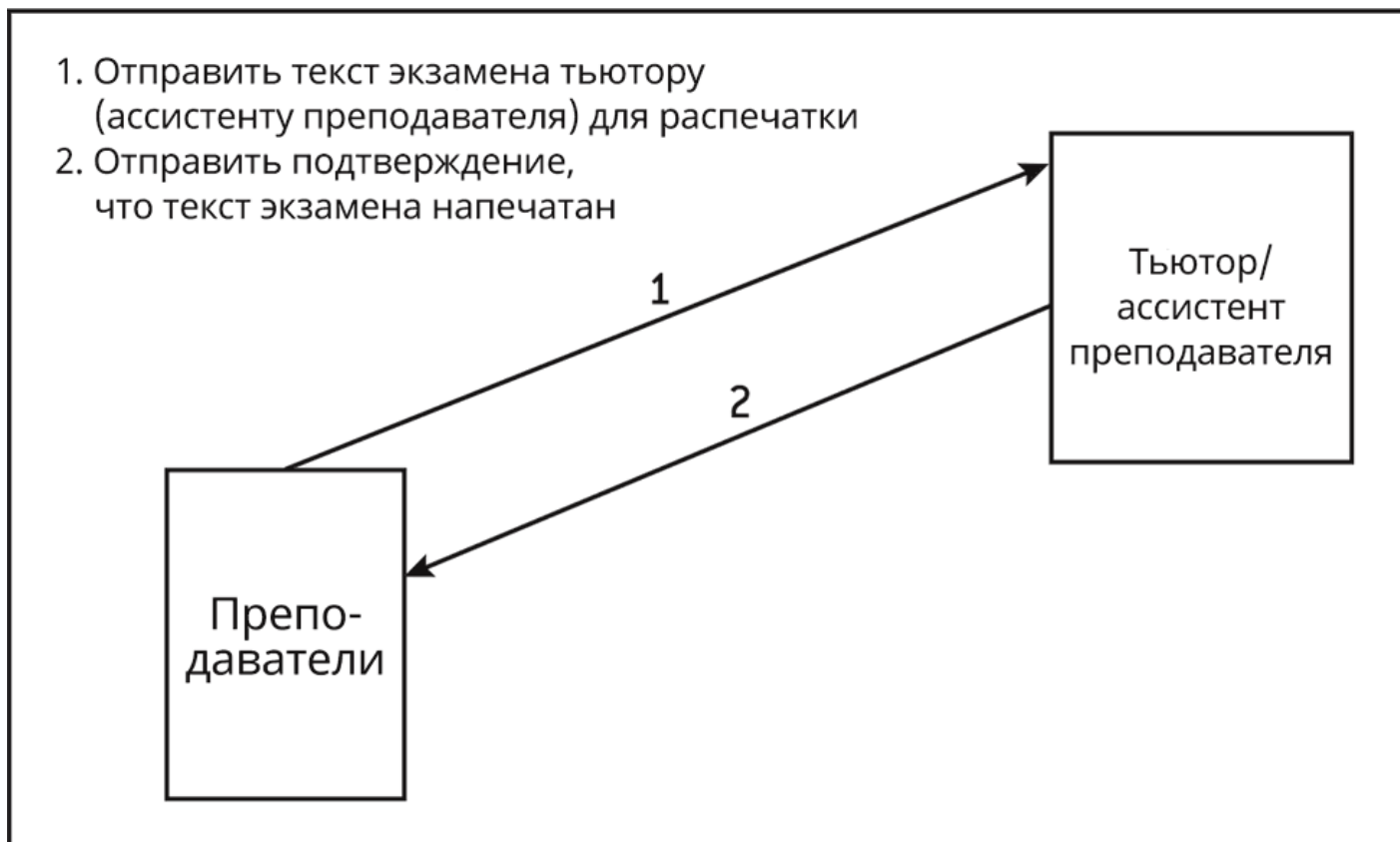


Рисунок 8.4. Разработка экзамена (неменеджерияльный университет)



Самое важное в этой диаграмме – то, что каждая из этих дополнительных линий представляет собой действие, которые должно быть выполнено не компьютером, а человеком.

О политических последствиях бредовизации и последующего снижения производительности в сфере заботы, а также о том, как это связано с возможным восстанием заботливого класса

Начиная по меньшей мере со времен Великой депрессии мы слышим предупреждения о том, что автоматизация труда лишает или вот-вот лишит миллионы людей работы; Кейнс тогда придумал термин «технологическая безработица», и многие решили, что массовая безработица 1930-х была лишь предвестием приближающейся грозы. Может показаться, что эти заявления были некоторым алармизмом, однако моя позиция здесь такова, что на самом деле всё наоборот: они были абсолютно верными. Автоматизация действительно вела к

массовой безработице; мы попросту остановили этот процесс за счет создания фиктивных рабочих мест, фактически выдумав их. Политическое давление как справа, так и слева, а также глубоко укоренившееся в массах представление о том, что человек может быть нравственно полноценным благодаря одной только оплачиваемой работе, и, наконец, опасения части высшего класса (отмеченные Джорджем Оруэллом уже в 1933 году), что трудящимся массам может прийти в голову бог знает что, если у них будет слишком много свободного времени, – всё это привело к убеждению, что, какими бы ни были реальные условия, официальные показатели безработицы в богатых странах должны колебаться в диапазоне от трех до восьми процентов. Но если исключить бредовую работу и ту настоящую работу, которая нужна исключительно для поддержки бредовой, то можно заключить, что предсказанная в тридцатые катастрофа действительно произошла. Более пятидесяти-шестидесяти процентов населения лишились работы.

Вот только называть это катастрофой нет, конечно, абсолютно никаких причин. На протяжении последних нескольких тысяч лет существовали тысячи и тысячи групп людей, которые можно назвать обществами. Подавляющему большинству из них удавалось найти возможности так распределить функции, необходимые для поддержания их привычного существования, что практически все вносили какой-то вклад и при этом никто не должен был тратить большую часть времени бодрствования на задачи, которые он предпочел бы не выполнять, как это происходит сейчас[231]. К тому же когда люди в этих обществах сталкивались с «проблемой» избыточного свободного времени, то, судя по всему, без особых трудностей находили, чем себя развлечь и как скоротать время[232]. Любому, кто родился в таком обществе, мы, вероятно, показались бы столь же иррациональными, как индиоты Ийону Тихому.

Таким образом, существующее распределение труда вызвано не экономическими причинами и даже не человеческой природой: всё дело в политике. У нас не было необходимости начинать подсчитывать ценность работы заботы, и сейчас нет никакой необходимости продолжать этим заниматься. Мы можем просто перестать это делать. Но прежде чем мы развернем кампанию с целью реформировать работу и способы ее оценивания, думаю, было бы неплохо еще раз внимательно проанализировать замешанные в этом политические силы.

* * *

На произошедшее можно посмотреть с точки зрения оппозиции ценности и ценностей. В этом случае мы, разумеется, наблюдаем попытку заставить второе подчиниться логике первого.

До промышленной революции большинство людей работали дома. Вероятно, только начиная с 1750-х или даже с 1800-х годов имеет смысл говорить об обществе в современном его понимании, состоящем, с одной стороны, из набора предприятий и офисов («рабочих мест»), а с другой – из домов, школ, церквей, аквапарков и тому подобного (где-то между ними наверняка должен быть огромный торговый центр). Если работа – это область «производства», то дом – область «потребления», и он же, конечно, область «ценностей» (это означает, что в этой области люди в основном делают работу бесплатно). Однако

картину можно перевернуть и взглянуть на общество с противоположной стороны. Да, с точки зрения бизнеса дом и школа – это просто места, где мы производим, растим и обучаем дееспособную рабочую силу. Однако с человеческой точки зрения это примерно такое же безумие, как создавать миллионы роботов, чтобы они потребляли еду, которую люди больше не могут себе позволить, или предупреждать африканские страны (как это иногда делает Всемирный банк), что им необходимо контролировать распространение ВИЧ, ведь если всё население погибнет, это окажет неблагоприятное воздействие на экономику. Карл Маркс однажды заметил, что до промышленной революции никому, судя по всему, и в голову не приходило написать книгу о том, при каких условиях можно достичь наивысшего уровня общего богатства. В то же время многие писали книги о том, при каких условиях будут созданы наилучшие люди, то есть как лучше всего организовать общество, чтобы производить таких людей, которых хотелось бы видеть рядом в качестве друзей, возлюбленных, соседей, родственников или сограждан. Этот вопрос беспокоил Аристотеля, Конфуция и Ибн Хальдуна – и в конечном счете по-прежнему только этот вопрос действительно важен. Человеческая жизнь – это процесс, посредством которого мы, будучи людьми, создаем друг друга, и даже самые ярко выраженные индивидуалисты становятся индивидами благодаря заботе и поддержке своих товарищей. А «экономика», в конце концов, – это просто способ обеспечить себя необходимыми для этого материальными ресурсами.

Если это так, то разговор о ценностях, которые ценны именно потому, что их нельзя свести к цифрам, – это старый разговор о процессе взаимного творения и взаимной заботы[233].

Раз так, то очевидно, что по меньшей мере на протяжении последних пятидесяти лет область ценности систематически вторгалась в область ценностей. Поэтому неудивительно, что появились политические аргументы, которые мы сегодня наблюдаем. Например, во многих больших американских городах крупнейшими работодателями являются университеты и больницы. Экономика этих городов, таким образом, выстроена вокруг огромного аппарата производства людей и их поддержания в рабочем состоянии, причем в лучших традициях картезианства она четко разделена на образовательные учреждения, призванные формировать сознание, и медицинские учреждения, призванные поддерживать тело. (Есть и другие города, такие как Нью-Йорк, где университеты и больницы занимают второе и третье место среди работодателей, а на первом месте банки; я вскоре вернусь к этому.) Если прежде левые политические партии, по крайней мере, утверждали, что представляют заводских рабочих, то теперь они отказались от таких притязаний, и сейчас в них преобладает класс профессиональных управленцев, которые руководят такими учреждениями, как университеты и больницы. Правые популисты систематически пытаются урезать полномочия этих учреждений во имя другого набора ценностей, религиозных или патриархальных, – например, оспаривают авторитет университетов, отрицая климатологию и теорию эволюции, или же нападают на авторитет системы здравоохранения, проводя кампании против контрацепции и абортов. А иногда правые предаются неосуществимым фантазиям о возвращении в индустриальную эпоху (как это делает, к примеру, Трамп). Но в действительности это скорее занятие для настоящих упрямец. Потому что если смотреть реалистично, то вероятность того, что правые популисты в Америке перехватят у корпоративных левых контроль над аппаратом производства человеческих ресурсов, примерно такая же, как и вероятность того, что Социалистическая партия захватит в

Америке власть и проведет коллективизацию тяжелой промышленности. Пока что весы застряли в точке равновесия: умеренные левые в целом контролируют производство людей, а умеренные правые в целом контролируют производство вещей.

Именно в этих условиях корпоративный сектор и особенно сектор заботы уходят под контроль финансового капитала и заполняются бредом. Это приводит к еще большему росту общественных издержек в то самое время, когда из занятых настоящей заботой на передовой выжимают все соки. Кажется, что всё готово для восстания заботливого класса. Но почему оно всё еще не произошло?

Одна из очевидных причин заключается в том, что многие представители заботливого класса оказались в противоположных лагерях благодаря правым популистам, а также расистам с их стратегией «разделяй и властвуй». Но есть и еще более трудная проблема: ведь по многим спорным вопросам обе стороны, по идее, должны всё же оказываться в «одном и том же» политическом лагере. И вот в этот момент подключаются банки. Потому что банки, университеты и больницы очень хитрым образом переплетены. Финансовый капитал, конечно, проникает повсюду, от автокредитов до кредитных карт, но примечательно, что основной причиной банкротств в Америке являются долги по медицинской страховке, а молодые американцы устраиваются на бредовую работу главным образом из-за необходимости платить по студенческим займам. Однако со времени правления Клинтона в США и Блэра в Великобритании именно называющие себя левыми партии охотнее всего отдавали власть финансовому капиталу, получали наибольшую выгоду от финансового сектора и теснее всего работали с финансовыми лоббистами, чтобы «реформировать» законодательство и сделать всё это возможным[234]. В то же самое время эти партии сознательно отвернулись от всех оставшихся избирателей из рабочего класса и превратились, как убедительно продемонстрировал Том Франк, в партии класса профессиональных управленцев, то есть не только врачей и адвокатов, но также администраторов и менеджеров, которые на самом деле ответственны за бредовизацию сектора заботы[235]. Если бы медсестры решились протестовать против бумажной работы, за которой они проводят значительную часть смены, то им пришлось бы выступить против лидеров их собственного профсоюза, которые тесно связаны с Демократической партией Клинтон (а основную поддержку этой партии оказывают как раз директора больниц, заставляющие медсестер заниматься бумажной работой). Если бы протестовали учителя, то они должны были бы выступить против директоров школ, которых зачастую представляет тот же самый профсоюз. А если они будут протестовать слишком громко, то им попросту скажут, что у них нет другого выбора, кроме как принять бредовизацию, потому что единственная альтернатива – сдаться на милость варваров-расистов из лагеря правых популистов.

Я сам неоднократно натыкался на эту дилемму. В 2006 году, когда меня выгнали из Йеля за поддержку аспирантов, инициировавших создание профсоюза преподавателей (чтобы избавиться от меня, факультет антропологии был вынужден получить специальное разрешение, позволявшее в моем случае изменить правила продления преподавательского контракта), профсоюзные лидеры собирались запустить кампанию в мою поддержку с помощью MoveOn.org и аналогичных леволиберальных почтовых рассылок – до тех пор, пока им не напомнили о том, что администраторы Йеля, стоявшие за моим увольнением,

вероятно, сами управляют этими рассылками. Несколько лет спустя, во время акции «Захвати Уолл-стрит», которую можно считать первым значительным восстанием заботливого класса, я наблюдал, как те же самые «прогрессивные» профессиональные управленцы первым делом попытались кооптировать движение в Демократическую партию. А когда это не удалось, они сидели сложа руки или даже вступили в сговор с администрацией, в то время как мирный протест был подавлен с применением военной силы.

Безусловный базовый доход как пример программы, которая может приступить к отделению работы от вознаграждения за нее и покончить с описанными в этой книге дилеммами

Обычно в своих книгах я предпочитаю не давать рекомендаций по конкретным мерам государственной политики. Одна из причин – мой собственный опыт, который показывает, что если автор критикует существующее устройство общества, то рецензенты зачастую начинают спрашивать: «Так что вы предлагаете с этим делать?» – и ищут в тексте нечто похожее на рекомендацию, а потом ведут себя так, будто в этом и была вся суть книги. Если бы я заявил, что масштабное сокращение продолжительности рабочего дня или политика безусловного базового дохода могут серьезно помочь в решении описанных здесь проблем, то на эту книгу стали бы смотреть как на книгу о сокращении продолжительности рабочего дня или о безусловном базовом доходе, – будто книгу следует оценивать по тому, насколько действенны эти меры или даже насколько их легко реализовать.

Это было бы ошибкой, потому что это не книга о каком-то конкретном решении. Это книга о проблеме, существование которой многие люди даже не признают.

Есть и еще одна причина, по которой я не люблю давать рекомендации по мерам государственной политики: дело в том, что я с подозрением отношусь к самой идее государственной политики. Эта идея предполагает, что существует некая элитная группа (обычно это государственные чиновники), которая что-то решает («разрабатывает политику») и потом навязывает свое решение всем остальным. Мы не замечаем одной интеллектуальной уловки, с помощью которой сами себя обманываем в таких дискуссиях. Например, мы говорим: «Что мы будем делать с проблемой X?» – как будто «мы» – это общество в целом и наши действия обращены на нас же самих. В действительности же, если мы не являемся частью тех приблизительно трех-пяти процентов населения, чьи взгляды действительно оказывают влияние на разработку политики, это всего лишь игра понарошку: мы отождествляем себя с нашими правителями, в то время как на самом деле мы –

подчиненные. Именно это происходит, когда мы видим по телевидению политика, говорящего: «Что нам делать с обездоленными?», хотя не меньше половины из нас почти наверняка сами подходят под эту категорию. Сам я считаю такие игры особенно вредными, потому что я бы предпочел, чтобы политической элиты вообще не существовало. Лично я – анархист: это означает, что я не только с нетерпением ожидаю того дня, когда государство, корпорации и прочие подобные вещи станут такими же историческими курьезами, какими нам сейчас представляются испанская инквизиция или нашествия кочевников, но я также предпочитаю решать насущные проблемы таким образом, чтобы не предоставлять государству или корпорациям больше полномочий, а давать людям возможность самим справляться с собственными делами.

Поэтому когда я сталкиваюсь с социальной проблемой, то у меня не возникает желания сразу представить себя руководителем и поразмышлять, какие решения я бы навязал людям; вместо этого я начинаю искать, существует ли уже какое-то движение, которое пытается решить проблему и разработать собственные решения. Однако проблема бредовой работы в этом отношении представляет собой необычную задачу. Не существует движений, выступающих против бредовой работы. Отчасти причина в том, что большинство людей не считают распространение бредовой работы проблемой, но также и в том, что даже если бы они признали это проблемой, то создать движение для решения такой проблемы было бы трудно. Какие инициативы такое движение может предложить на локальном уровне? Можно представить, что профсоюзы или другие рабочие организации выдвинут инициативы, направленные против бредовой работы в своих организациях или даже в целых отраслях, но они, вероятно, будут призывать очистить от бреда настоящую работу, а не увольнять тех, кто занимает бесполезные должности. И совсем неясно, как в принципе может выглядеть более широкая кампания против бредовой работы. Можно попробовать сократить рабочую неделю и надеяться, что после этого проблема решится сама собой. Но вряд ли так произойдет: даже если кампания за пятнадцатичасовую рабочую неделю окажется успешной, вряд ли люди стихийно начнут бросать бесполезную работу и уходить из бесполезных отраслей; если же поручить новым государственным бюрократам оценивать полезность работы, то мы неизбежно получим очередной огромный генератор бреда.

То же самое произойдет и с программой гарантированной занятости.

Мне удалось найти только одно возможное решение, которое в настоящее время пропагандируется общественными движениями. Оно сократит, а не увеличит объем и навязчивость государственного вмешательства. Я говорю о безусловном базовом доходе.

Позвольте мне закончить последней историей, которую мне прислала подруга-активистка. Политическая цель ее жизни – сделать бесполезной свою собственную бредовую работу, равно как и работу своих коллег-активистов. Лесли – консультант по социальным пособиям в Великобритании, то есть она работает в НКО, цель которой – помочь гражданам сориентироваться в сложной полосе препятствий, созданной целой чередой правительств, чтобы максимально усложнить безработным и нуждающимся доступ к деньгам, которые государство якобы выделило для них. Вот ее история:

█

Лесли: В моей работе не должно быть потребности, но она необходима из-за целой цепочки бредовых должностей, изобретенных для того, чтобы лишить денег тех, кто в них нуждается. Вынуждать людей просить о пособии – в этом уже есть что-то кафкианское, бесцеремонное и унижительное. Однако они еще и сделали процесс получения пособий невероятно запутанным. Даже если человек имеет на что-то право, то процедура подачи заявлений настолько сложна, что большинству требуется помощь, чтобы понять вопросы в анкете и узнать о своих собственных правах.

Лесли на протяжении многих лет была вынуждена иметь дело с тем безумием, которое возникает, когда кто-то пытается перевести человеческую заботу в формат, доступный для распознавания компьютером, – не говоря уже о том, что задача компьютеров состоит в том, чтобы заботы было строго ограниченное количество. В результате она оказалась почти в таком же положении, как и Таня из главы 2, которая была вынуждена часами переписывать резюме кандидатов на работу и обучать их использованию ключевых слов, необходимых для того, чтобы «пройти через компьютер»:

“ Лесли: При заполнении форм необходимо использовать определенные слова. Я называю их катехизисом. Если вы их не используете, вашу заявку могут отклонить; однако эти слова знают только люди вроде меня, у которых есть профессиональная подготовка и доступ к справочникам. Но даже после этого, особенно если речь идет о заявлениях на пособие в связи с потерей работоспособности, заявителю зачастую приходится пробиваться через суд, чтобы добиться признания права на льготы. У меня каждый раз мурашки по коже, когда мы добиваемся для кого-то победы. Но это не компенсирует того бешенства, которое у меня вызывает колоссальная трата времени всех, кто в этом участвует: времени заявителя, моего времени, времени разных ребят в МТП [Министерстве труда и пенсий], рассматривающих заявление, времени судей на процессах, времени экспертов, которых обе стороны привлекают, чтобы доказать свою правоту. Неужели мы не можем заняться чем-то более дельным, типа, не знаю, установки солнечных батарей или садоводства? Еще я часто думаю о том, кто придумал эти правила. Сколько им за это заплатили? Сколько времени им на это потребовалось? Сколько людей в этом участвовало? Наверное, они думают, что это сделано для того, чтобы деньги не достались тем, кто не имеет на них права... И тогда я воображаю себе космических пришельцев, которые смеялись бы, глядя на нас: люди изобретают правила, чтобы не дать другим людям доступ к деньгам – фишкам, которые выдуманы самими людьми и потому по своей сути не могут быть ограничены.

Кроме того, поскольку Лесли занимается добрым делом, она может рассчитывать только на минимальную зарплату, а для покрытия расходов на содержание ее офиса приходится удовлетворять бесконечную череду самодовольных канцелярских крыс.

Лесли: Мало того: моя работа финансируется благотворительными трастовыми фондами, а это еще одна длинная цепь бредовой работы, начиная с меня, подающей заявление о выделении денег, и заканчивая генеральными директорами, которые заявляют, что их организации борются с бедностью или «делают мир лучше». У меня всё начинается с многочасовых поисков соответствующих фондов, чтения их рекомендаций, потом я трачу время на поиск лучшего подхода к ним, дальше – заполнение форм, телефонные звонки. В случае успеха я должна каждый месяц часами собирать статистические данные и заполнять контрольные бланки. У каждого траста есть свой собственный катехизис и свой набор показателей. Каждый требует свой собственный набор доказательств того, что мы «расширяем возможности» людей или «меняем мир» и создаем инновации, в то время как на самом деле мы жонглируем правилами и словами в интересах людей, которым просто нужно помочь заполнить бумажки, чтобы они могли продолжать жить.

Лесли рассказала мне об исследованиях, которые демонстрируют, что любая система проверки материального положения, вне зависимости от ее формата, неизбежно приводит к тому, что двадцать процентов имеющих законное право на пособие опускают руки и не подают заявление. Это почти наверняка больше, чем число «мошенников», которых можно выявить при помощи правил, – даже если включить сюда тех, кто искренне заблуждается, то это всё равно составит всего 1,6 %. Цифра в двадцать процентов останется неизменной даже в случае, если формально никому не будет отказано в предоставлении пособия. Однако правила, разумеется, предназначены как раз для того, чтобы отказать как можно большему числу заявителей: все эти санкции и избирательное применение правил привели к тому, что у нас в Великобритании сейчас шестьдесят процентов людей, имеющих право на получение пособий по безработице, их не получают. Другими словами, все, кого описала Лесли, – целая армия бюрократов, начиная с тех, кто придумывает правила, и включая чиновников Министерства труда и пенсий, сотрудников апелляционных судов, адвокатов, сотрудников фондов, которые обрабатывают заявления неправительственных организаций, нанимающих этих адвокатов, – все эти люди являются частью одного большого аппарата, существующего для поддержания иллюзии, что люди по своей природе ленивы и не хотят работать (а значит, даже если общество и обязано следить за тем, чтобы они буквально не умерли с голода, то необходимо сделать процесс предоставления им средств к существованию максимально запутанным, трудоемким и унизительным).

Таким образом, работа Лесли – это, по сути, чудовищное сочетание работы для галочки и работы костыльщика: она исправляет неэффективность системы ухода, намеренно созданной таким образом, чтобы она не работала. Тысячи людей получают приличные зарплаты и сидят в офисах с кондиционерами просто для того, чтобы бедные люди продолжали себя ненавидеть.

Лесли знает это лучше, чем кто-либо другой, потому что побывала по обе стороны баррикад. На протяжении многих лет она жила на пособие как мать-одиночка и точно знает, как всё это выглядит для получателей помощи. Как же она предлагает решить проблему? Полностью ликвидировать весь этот аппарат. Она участвует в движении за безусловный

базовый доход, которое призывает заменить все социальные пособия, зависящие от материального положения, фиксированной платой, которую в равном объеме будут получать все жители страны.

Кэнди – еще одна активистка, выступающая за базовый доход. Она также занималась бессмысленной работой в системе социального обеспечения, о которой предпочла не распространяться. Кэнди рассказала мне, что заинтересовалась этой тематикой, когда впервые приехала в Лондон в 1980-е и стала участницей международной кампании «Заработная плата за работу по дому»:

“ Кэнди: Я участвовала в движении «Заработная плата за работу по дому», потому что считала, что моя мать нуждается в этом. Она неудачно вышла замуж и ушла бы от моего отца гораздо раньше, если бы у нее были деньги. Это очень важно для тех, кто находится в насильственных отношениях или даже просто устал от отношений, – иметь возможность избавиться от них, не рискуя при этом финансово.

К тому моменту я жила в Лондоне всего год; до этого в Штатах я пыталась участвовать в каком-то феминистском движении. Я хорошо запомнила, как, когда мне было девять лет, мама взяла меня с собой на собрание группы повышения сознательности в Огайо. Мы вырывали страницы из Евангелия Святого Павла, где говорилось о том, как ужасны женщины, и собирали их в кучку. И поскольку я была самой младшей, то мне сказали поджечь эту кучку. Помню, что поначалу я не стала этого делать, потому что меня учили не играть со спичками.

Дэвид: Но в итоге вы ее подожгли?

Кэнди: Да, мама мне разрешила. Вскоре после этого она нашла работу, стала зарабатывать достаточно, чтобы нас обеспечивать, и ушла от отца. Теория получила проверку делом – для меня это выглядело именно так.

В Лондоне Кэнди вступила в движение «Заработная плата за работу по дому», потому что видела в этом альтернативу бесплодным спорам, которые вели между собой либералы и сепаратисты, хотя большинство феминисток тогда считали это движение группой надоедливых или даже опасных радикалов. По крайней мере, это движение давало экономический анализ тех проблем, с которыми женщины сталкивались в реальной жизни. В это время начались разговоры о «глобальной машине работы» – системе наемного труда в планетарном масштабе, призванной выжимать всё больше усилий из всё большего числа людей. Однако феминистская критика указывала, что эта же система определяет, что считать «настоящим» трудом (то, что можно свести к «времени» и, следовательно, покупать и продавать), а что нет. Труд большинства женщин был отнесен к последней категории, несмотря на то что без него сама эта машина, которая клеймила его как «ненастоящую работу», сразу бы остановилась.

Движение «Заработная плата за работу по дому», по сути, было попыткой разоблачить капитализм, сказав: «Почти у любой работы, даже если это работа на заводе, есть разная мотивация. Но если вы настаиваете, что работа имеет ценность только в качестве товара на рынке, то хотя бы будьте последовательными!» Если женщинам будут платить так же, как мужчинам, то к ним сразу же перейдет значительная часть мирового богатства; а где богатство, там, конечно, и власть. Вот отрывок из разговора с Кэнди и Лесли:

“ Дэвид: Были ли внутри движения «Заработная плата за работу по дому» дискуссии о конкретных мерах социальной политики – то есть о механизмах, при помощи которых будет выплачиваться зарплата?

Кэнди: Нет-нет, это, скорее, был определенный подход – способ обратить внимание на неоплачиваемую работу, которой занимались женщины, но о которой никто не говорил. И с этой точки зрения мы проделали действительно хорошую работу. В шестидесятые мало кто говорил о работе, которую женщины выполняют бесплатно, но в семидесятые это стало предметом обсуждения, когда было создано наше движение. Теперь этот аспект обычно учитывают, к примеру, при урегулировании бракоразводных дел.

Дэвид: Получается, само требование было, по сути, провокацией?

Кэнди: Это была скорее провокация, чем конкретный план, – мы вообще не говорили: «Вот как это можно сделать». Мы рассуждали о том, откуда можно взять деньги. Сначала мы считали, что деньги должен дать капитал. Потом, в конце восьмидесятых, вышла книга Уилметт Браун «Черные женщины и движение за мир»[236]; в ней говорилось о том, что война и экономика войны больше всего влияют на женщин, и в особенности на черных женщин. Тогда мы начали использовать лозунг «Платите женщинам, а не солдатам». На самом деле вы по-прежнему можете услышать: «Зарплата за заботу, а не за убийство». Так что мы, конечно, атаковали тех, у кого деньги. Но мы никогда особо не вникали в конкретные механизмы.

Дэвид: Подождите, «зарплата за заботу, а не за убийство» – это чей лозунг?

Лесли: Всеобщей женской забастовки, она сейчас наследует движению «Заработная плата за работу по дому». Когда в 2013 году мы выпустили первую петицию за ББД [безусловный базовый доход] в Европе, то ответ Всеобщей женской забастовки состоял в том, что через два месяца они вместо предложенной нами инициативы запустили петицию о заработной плате для занятых заботой. Я лично ничего не имела бы против, если бы они были готовы признать, что все в том или ином виде заняты заботой. Если вы не заботитесь о ком-то другом, то, по крайней мере, вы заботитесь о самом себе, а на это требуется время и энергия, которых система оставляет всё меньше и меньше. Но если мы признаем это, то просто снова вернемся к идее ББД: если все заняты заботой, то вы можете с таким же успехом

давать деньги всем, и пусть они сами решают, о ком будут заботиться.

Кэнди перешла от «Заработной платы за работу по дому» к ББД по аналогичным причинам. Она и некоторые другие активистки начали задаваться вопросом: если мы хотим осуществить реальную политическую программу, то какой она может быть?

“ Кэнди: Когда мы раздавали листовки «Заработной платы за работу по дому» на улицах, то женщины обычно говорили либо: «Замечательно! Где я могу подписаться?», либо: «Как вы смеете требовать деньги за то, что я делаю ради любви?» Вторая реакция – вовсе не безумие: эти женщины по понятным причинам сопротивлялись превращению всей человеческой деятельности в товар, ведь получение зарплаты за работу по дому могло пониматься именно так.

Кэнди был особенно впечатлена аргументами французского мыслителя-социалиста Андре Горца. Когда я изложил свой собственный анализ заботы, которая по своей природе не поддается измерению, то она сказала мне, что Горц предвосхитил эти идеи на сорок лет:

“ Кэнди: Горц критиковал «Заработную плату за работу по дому» за то, что если всё время подчеркивать значимость заботы для мировой экономики исключительно с финансовой точки зрения, то существует опасность, что вы в итоге станете определять в долларах ценность различных форм заботы, говоря, что в этом и состоит их настоящая ценность. Но в таком случае вы рискуете, что эта забота будет всё активнее монетизироваться и измеряться в количественных показателях. В итоге ее вообще угробят, потому что монетизация такой деятельности часто снижает качественную ценность заботы, особенно если забота сводится к набору дел заранее определенной продолжительности, как это обычно и бывает. Он говорил об этом уже в семидесятые, и сейчас, разумеется, именно это и происходит. Даже с учительницами или медсестрами[237].

Лесли: Не говоря уже о том, чем занимаюсь я.

Дэвид: Да, понимаю. Я называю это «бредовизация».

Кэнди: Да, безусловно, произошла бредовизация.

Лесли: В то время как ББД... По-моему, Сильвия [Федеричи] недавно писала или говорила в интервью о том, как ООН и всевозможные международные организации в семидесятые вцепились в феминизм, видя в нем возможность преодолеть кризис, в котором капитализм оказался. «Ну конечно, – сказали они, – давайте начнем платить женщинам и тем, кто занят заботой (большинство женщин из рабочего класса к тому моменту уже работали „в две смены“), – но не для того, чтобы дать больше возможностей женщинам,

а чтобы проучить мужчин». Поскольку, как можно видеть, выравнивание зарплаты после этого происходило в основном благодаря тому, что в реальном исчислении зарплаты мужчин из рабочего класса уменьшились, а не потому, что женщины стали получать больше. Они всегда пытаются настроить нас друг против друга. Вот в чем суть всех этих механизмов оценивания относительной ценности разных видов работы.

Поэтому меня так интригует экспериментальное исследование базового дохода, которое проводится в Индии. В нем много всего интересного; например, уровень домашнего насилия стал быстро снижаться. (Это логично, потому что, как мне кажется, восемьдесят процентов семейных конфликтов, которые приводят к насилию, связаны с деньгами.) Но что самое главное – начинает исчезать социальное неравенство. Сначала вы даете всем одинаковую сумму денег. Это само по себе важно, потому что деньги обладают определенной символической властью: они одинаковы для всех, и, когда вы даете всем – мужчинам, женщинам, старым, молодым, представителям высшей и низшей касты – одну и ту же сумму, эти различия начинают исчезать. Именно это и произошло во время индийского эксперимента: было отмечено, что девочки стали получать столько же еды, как и мальчики, чего прежде не было, что инвалидам стали давать поучаствовать в разных видах деятельности в деревне, а молодые женщины отказались от социальной нормы, которая предписывала им быть застенчивыми и скромными, и начали тусоваться в общественных местах, как мальчики... Девушки начали участвовать в общественной жизни[238].

ББД всегда должен быть таким, чтобы его самого по себе хватало на жизнь, и выплачивать его нужно без всяких условий. Все должны его получать, даже те, кому он не нужен. Оно того стоит – просто чтобы установить принцип, что если речь идет о необходимом для жизни, то все в равной степени безоговорочно этого заслуживают. Это становится правом человека, а не просто благотворительностью или подпоркой в отсутствие других источников дохода. Если же требуется что-то сверх этого (например, если у человека инвалидность), то вы решаете эту проблему отдельно. Но только после того, как закрепите право на материальное существование для всех людей.

тот аспект пугает и сбивает с толку многих, когда они впервые слышат о концепции базового дохода. Вы ведь не собираетесь платить двадцать пять тысяч долларов в год (или сколько там будет назначено) и Рокфеллерам тоже? Ответ – да, собираемся. Всем – значит, всем. Миллиардеров не так уж и много, так что на них будет потрачено не очень много денег; в любом случае для богатых людей можно установить более высокие налоги. Если начать проверять доходы, даже если речь идет о миллиардерах, то для этого нужно будет снова создать бюрократию, которая будет этим заниматься. А если история чему-то нас учит, то в первую очередь тому, что такая бюрократия неизбежно разрастается.

В конечном счете смысл базового дохода в том, чтобы отделить источник средств к существованию от работы. Непосредственный эффект будет состоять в том, что в любой стране, где это реализуют, бюрократия сразу резко сократится. Как демонстрирует пример Лесли, огромная часть государственного аппарата (а также оболочка из полугосударственных корпоративных НКО, которые окружают государство в большинстве богатых стран) существует только для того, чтобы бедные люди себя ненавидели. Это чрезвычайно дорогая нравственная игра, в которую мы играем для того, чтобы функционировала глобальная машина работы, в целом совершенно бесполезная.

“ Кэнди: Позвольте мне привести пример. Недавно я думала о том, чтобы взять ребенка из приюта. Я изучила пособия – они довольно щедрые. Вы получаете муниципальную квартиру, и сверх того вам платят двести пятьдесят фунтов в неделю за уход за ребенком. Но потом я подумала: минутку, они говорят о тринадцати тысячах фунтов в год и квартире за одного ребенка, которых у его родителей в большинстве случаев не было. Если бы мы предоставили то же самое родителям ребенка просто так, чтобы они избежали массы проблем, то им вообще не пришлось бы отдавать его на воспитание.

И это, разумеется, без учета зарплат чиновников, которые организуют опеку и контролируют его, без издержек на строительство и содержание офисных зданий, где они работают, на различные инстанции, которые осуществляют наблюдение и контроль за этими госслужащими, а для них тоже требуется строить и содержать офисные здания, и так далее.

Здесь не место обсуждать, как программа базового дохода может работать на самом деле[239]. Если большинству это кажется невозможным («Но откуда вы возьмете деньги?»), то это главным образом из-за того, что мы все с детства усвоили ряд ложных представлений о том, что такое деньги, как они производятся, для чего на самом деле нужны налоги, и о многих других вопросах, которые выходят далеко за рамки этой книги. Положение также осложняется тем, что существуют диаметрально противоположные взгляды на то, что такое безусловный доход и почему он необходим. С одной стороны, есть консервативный вариант, в котором выплата небольшого пособия станет предлогом для полной ликвидации элементов социального государства, существующих в виде бесплатного образования и здравоохранения, чтобы просто отдать их на откуп рынку. С другой стороны, существует и радикальный вариант, который поддерживают Лесли и Кэнди; в нем предполагается, что существующие безусловные гарантии вроде британской Национальной службы здравоохранения никуда не исчезнут[240]. Для первого подхода базовый доход – это разновидность контракта, для второго – способ расширить зону безусловных гарантий. Сам я поддерживаю последний вариант, несмотря на мои антигосударственные политические взгляды. Будучи анархистом, я с нетерпением жду полной ликвидации государства, а на данном этапе совершенно не заинтересован в политических решениях, которые наделят государство большей властью, чем у него уже есть.

Как ни странно, именно поэтому я могу поддерживать базовый доход. Может показаться, что базовый доход приведет к значительному расширению властных полномочий государства, поскольку, по-видимому, именно правительство (или какие-то квазиправительственные учреждения вроде центрального банка) будет создавать и распределять деньги, – однако на самом деле всё будет как раз наоборот. Значительная часть правительства (причем самая навязчивая и отвратительная часть, которая активнее всего занята надзором за нравами простых граждан) сразу же станет не нужна, и ее можно будет просто расформировать[241]. Да, миллионы мелких государственных служащих и консультантов по пособиям вроде Лесли лишатся работы, но они тоже будут получать базовый доход. Может быть, кто-то из них найдет себе действительно важное занятие вроде установки солнечных батарей, как предлагает Лесли, или поиска лекарства от рака. Но ничего страшного, если они начнут создавать шумовые оркестры или посвятят себя реставрации антикварной мебели, спелеологии, переводу иероглифов майя или решат поставить мировой рекорд по занятию сексом в преклонном возрасте. Пусть делают что захотят! Чем бы они ни занялись, они почти наверняка будут счастливее, чем сейчас, когда наказывают безработных за то, что те поздно приходят на семинары по составлению резюме, или проверяют, есть ли у бездомного удостоверение личности в трех форматах. И от того, что они обретут счастье, всем остальным тоже станет лучше.

Даже те программы, которые предполагают незначительный размер базового дохода, могут стать отправной точкой на пути к самым глубоким преобразованиям – к окончательному разделению работы и средств к существованию. Как мы видели в предыдущей главе, есть серьезные моральные доводы в пользу того, что всем следует платить одинаково, вне зависимости от работы. Однако упомянутые в прошлой главе аргументы предполагают, что людям будут платить за работу, что как минимум требует существования бюрократии, которая будет отслеживать, действительно ли люди работают, – даже если она не станет измерять, насколько усердно они это делают или сколько они производят. Полная реализация идеи базового дохода ликвидирует принуждение к работе, предоставив всем достойный уровень жизни. Дальше люди уже сами будут решать, увеличивать ли им свое состояние, выполняя оплачиваемую работу или чем-нибудь торгуя, либо же распоряжаться своим временем как-нибудь еще. Кроме того, это может привести к созданию более эффективных способов распределения товаров в целом. (Ведь в конечном счете деньги – это продовольственные карточки для нормированного потребления, а нам, вероятно, в идеале хотелось бы, чтобы нормирования было как можно меньше.) Очевидно, всё это держится на предположении, что нет необходимости заставлять людей трудиться – или, по крайней мере, делать то, что они считают полезным и благотворным для других. Мы видели, что это обоснованное допущение. Большинство людей не хотели бы целыми днями сидеть и смотреть телевизор, а горстка тех, кто действительно может стать совершенными паразитами, не будет тяжелым бременем для общества, поскольку для поддержания комфорта и безопасности для людей требуется не так уж много работы. Заядлые трудоголики, которые упорно делают гораздо больше работы, чем требуется, с лихвой компенсируют ущерб от нескольких бездельников[242].

Наконец, концепция безусловной и всеобщей поддержки имеет прямое отношение к двум вопросам, которые неоднократно поднимались в этой книге. Один из них – это садомазохистские отношения, которые возникают в условиях иерархий на работе.

Садомазохизм обычно резко усиливается, когда все знают, что выполняют бессмысленную работу. Именно этим вызвана значительная часть каждодневных страданий людей на работе. В главе 4 я упоминал разработанную Линн Чансер концепцию повседневного садомазохизма – в частности, отсутствие обязательного для реальных БДСМ-игр стоп-слова, так что когда «нормальные» люди попадают в такие отношения, то так легко выйти из них не получается.

«Ты не можешь сказать: „Апельсин“ – своему боссу».

Эта мысль мне всегда казалась важной, она может даже послужить основой для теории социального освобождения. Мне хочется думать, что французский социальный философ Мишель Фуко двигался именно в этом направлении перед своей трагической смертью в 1984 году. Фуко, со слов знавших его людей, пережил удивительную личную трансформацию после того, как открыл для себя БДСМ. Из человека, известного своей скрытностью и нелюдимостью, он вдруг стал теплым, открытым и дружелюбным[243]. Его теоретические воззрения также начали меняться, однако довести этот процесс до конца ему так и не удалось. Разумеется, Фуко известен главным образом как теоретик власти, которая, по его мнению, пронизывает все человеческие взаимоотношения и вообще выступает основным содержанием человеческой социальности, – он как-то определил власть просто как «воздействие на действия других людей»[244]. Это всегда звучало несколько парадоксально: с одной стороны, на основании сочинений Фуко можно предположить, что он был противником авторитаризма и противостоял власти, а с другой стороны, он определял власть таким образом, что социальная жизнь оказывалась без нее невозможной. В самом конце своей жизни он, по всей видимости, стремился разрешить эту дилемму, проведя различие между властью и господством. Первое, по его словам, было просто вопросом «стратегических игр». Все люди постоянно играют во властные игры – мы вряд ли можем что-то с этим поделать, но в этом и нет ничего предосудительного. В своем последнем интервью он говорит:

“ Власть не есть зло. Власть – это стратегические игры. Хорошо известно, что власть не есть зло! Возьмите, к примеру, половые или любовные отношения: располагать властью над другим в своего рода открытой стратегической игре, где вещи могут переворачиваться, злом не является; это часть любви, страсти, полового удовольствия...

По-моему, необходимо отличать отношения власти как стратегические игры между свободами – стратегические игры, способствующие тому, что одни пытаются обуславливать поведение других, на что другие реагируют попытками не позволять обуславливать свое поведение или в ответ обуславливают поведение первых, – и состояния господства, какие обычно называют властью[245].

Фуко не слишком конкретен в том, как нам отличать одно от другого. Он лишь говорит, что при господстве отношения не являются открытыми и их нельзя перевернуть: это происходит, когда подвижные отношения власти становятся затвердевшими и

«обездвиженными». Он приводит пример взаимной манипуляции между преподавателем и студентом (власть – хорошо), противопоставляя ее тирании авторитарного начетчика (господство – плохо). Я думаю, что Фуко здесь приближается к идее, которой так в полной мере и не высказывает, – к идее теории социального освобождения, основанной на стоп-слове. Потому что это выглядит очевидным решением. Дело не в том, что некоторые игры бывают договорными (некоторым это по тем или иным причинам нравится), а в том, что иногда из них невозможно выбраться. В таком случае вопрос выглядит так: что может выступать эквивалентом стоп-слова «апельсин» в общении с начальником? Или с невыносимым бюрократам, с навязчивым научным руководителем, с бойфрендом-насильником? Как нам сделать так, чтобы остались только игры, которые мы будем воспринимать именно как игры, потому что мы в любой момент сможем из них выйти? По крайней мере, в сфере экономики ответ очевиден. Весь беспричинный садизм политической власти в офисах держится на том, что люди не могут сказать: «Я ухожу» – и не поплатиться за это экономическими последствиями. Если бы начальница Энни знала, что Энни может уйти в знак протеста, когда ее снова вызовут и начнут отчитывать за проблему, которую она уже полгода назад решила, и это никак не повлияет на ее доход, то начальнице хватило бы ума не вызывать Энни. В этом смысле базовый доход действительно даст работникам возможность сказать «апельсин» своему боссу.

Здесь мы подходим ко второму вопросу. Дело не только в том, что в мире, где доход гарантирован, начальнице Энни придется относиться к ней хотя бы с минимальным уважением. Если бы безусловный базовый доход был введен, то работа вроде той, которой занимается Энни, вообще едва ли могла бы существовать. Можно легко представить себе людей, которым не нужно было бы работать, чтобы выжить, и которые при этом всё равно решали бы стать ассистентом стоматолога, производителем игрушек, билетером, водителем буксира или даже инспектором очистных сооружений. Еще легче представить, что они решат заниматься несколькими подобными вещами одновременно. Но невероятно сложно представить себе, чтобы человек, не испытывающий финансовых затруднений, решил тратить значительную часть своего времени, подчеркивая строки в анкетах для фирмы по управлению расходами на медицинское обслуживание, – не говоря уже о том, чтобы проводить время в офисах, где подчиненным не разрешают разговаривать друг с другом. В таком мире у Энни не было бы никаких причин уходить из детского сада, если бы только ее саму не перестала интересовать эта работа, а если бы фирмы по управлению расходами на медицинское обслуживание продолжили существовать, то им пришлось бы найти другой способ подчеркивать строки в своих анкетах.

Вряд ли такие компании просуществовали бы долго. Потребность в них (если здесь вообще можно использовать слово «потребность») – это непосредственный результат существования в США странной и запутанной системы здравоохранения, которую подавляющее большинство американцев считают идиотской и несправедливой. Они с удовольствием заменили бы ее на какое-нибудь государственное страхование или на государственного медицинского оператора. Как мы могли видеть, одна из основных причин, почему нынешняя система продолжает существовать, – во всяком случае, если верить словам президента Обамы – заключается именно в том, что благодаря ее неэффективности создаются рабочие места вроде того, которое занимает Энни. Безусловный базовый доход, по крайней мере, дал бы миллионам людей, осознающих абсурдность этой ситуации, время

на участие в политических организациях, чтобы ее изменить, ведь их больше не будут заставлять подчеркивать строки в бланках по восемь часов в день или (если они всё же твердо намерены заниматься в жизни чем-нибудь полезным) в течение такого же количества времени метаться, пытаясь найти способ заплатить по счетам.

Сложно избавиться от впечатления, что именно это так нравится многим из тех, кто, подобно Обаме, отстаивает существование бредовой работы. Как отметил Оруэлл, у тех, кто занят работой, даже если это совершенно бесполезное занятие, нет времени заниматься чем-либо еще. Как минимум это дополнительный стимул ничего не менять в существующем положении дел.

Как бы то ни было, теперь я могу сформулировать свой второй и заключительный тезис. Первое же возражение, которое обычно возникает, когда кто-то предлагает гарантировать всем источник средств к существованию независимо от работы, состоит в том, что люди просто перестанут работать. Очевидно, что это не так, и я полагаю, что теперь мы уже можем это опасение сразу отбросить. Второе, более серьезное, возражение заключается в том, что большинство людей будут работать, но многие будут выбирать работу, которая интересует только их самих. Улицы будут кишеть плохими поэтами, надоедливymi мимами и пропагандистами безумных научных теорий, зато ничего не будет работать. Феномен бредовой работы ценен именно тем, что показывает, насколько глупы подобные представления. Несомненно, определенный процент населения свободного общества будет тратить время на занятия, которые другим будут казаться глупыми или бессмысленными; но сложно себе представить, что таких людей будет больше десяти-двадцати процентов. При этом уже сейчас тридцать семь – сорок процентов работников в богатых странах считают свои занятия бессмысленными. Около половины экономики состоит из бреда или существует для того, чтобы поддерживать бред. И этот бред даже нельзя назвать особенно интересным! Если мы откажемся от каких-либо ограничений и дадим каждому возможность самостоятельно решать, каким образом ему лучше приносить пользу человечеству, то как это может привести к более неэффективному распределению труда, чем нынешнее?

Это мощный аргумент в пользу свободы человека. Большинству из нас нравится говорить о свободе абстрактно, даже заявлять, что это важнейшая вещь, за которую стоит бороться и умирать, но мы не так много думаем о том, что на самом деле значит быть свободным или практиковать свободу. Главная идея этой книги – не предложить конкретные меры, а побудить нас размышлять и спорить о том, каким может быть по-настоящему свободное общество.

Версия #1

Зверобой создал 4 февраля 2026 06:59:33

Зверобой обновил 4 февраля 2026 07:11:28